

поэзии. Почему, уважая ее дарования, мы захотели разделить с нею наши благородные занятия и присоединить ее к нашему обществу». Мария Петровна беспрерывно краснела, приподнималась со стула и говорила: «Помилуйте! чем я это заслужила?» И подлинно, чем заслужила она такую комедию! Мы все едва могли удержаться от смеха; наконец князь, во время самого произнесения речи, наклонился ко мне, закрыв себя от других платком, и я увидел, что он помирает со смеху! Кончилось заседание; князь вышел в другую комнату, нахохотался вволю, и я видел, что он совершенно доволен, что из его серьезного намерения почтить талант приезжей дамы, не думав, не гадав, вышла такая комедия, тем более что дама не заметила этого и осталась тоже довольною*.

М. Дмитриев

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СОБРАНИЯ У Ф.Ф. КОКОШКИНА**

1812 год

Я бывал с Шущериным на литературных вечерах у Ф.Ф. Кокошкина, у которого обыкновенно собирались Каченовский, Мерзляков и Ф.Ф. Иванов, сочинитель драматических пьес «За Богом молитва, а за царем служба не пропадают» и «Не бывать фате» — пьес, которые в свое время имели значительный успех. Иванов слыл большим остряком и в самом деле был остроумный и веселый собеседник. Приезжали иногда гр. Сал-

* Об *И. М. Долгоруком* см.: Разные сочинения С. Аксакова. М., 1858, с. 62—68, 77—78. Полное собрание сочинений *П. А. Вяземского*, т. VIII, с. 476—481.

** Разные сочинения С. Аксакова. М., 1858. Литературные и театральные воспоминания, с. 28—30, 175—181.

тыков, Вельяшев-Волынцев, Смирнов, зять Мерзлякова, и другие; Шушерин вел себя с большим тактом со всеми. Кокошкин иногда читал на этих вечерах свой перевод Мольерова «Мизантропа» и просил замечаний. Замечания Каченовского всегда были очень дельны, но умеренны, а Мерзляков, бывавший по вечерам обыкновенно веселее, часто нападал беспощадно на переводчика. Один раз Кокошкин, выведенный из терпения его беспрестанными придирками, положил рукопись на стол, очень важно сложил руки и сказал: «Да помилуйте, Алексей Федорыч, предоставьте же переводчику пользоваться иногда *стихотворной вольностью*». — «Стихотворная вольность состоит в том, чтоб писать хорошо», — возразил Мерзляков, произнося слова своим пермским выговором на «о». Все громко засмеялись и одобрили такой ответ. Но едва ли кто больше Мерзлякова пользовался так называемой стихотворной вольностью, в которой он так резко отказывал Кокошкину, — особенно в своих переводах Тасса, из которых отрывки он также иногда читывал у Кокошкина, и никто, кроме Каченовского, не делал ему никаких замечаний, да и те были весьма снисходительны. Я тут же сообщал потихоньку Шушерину на ухо мои критические заметки и один раз попросил у него совета, — не сказать ли мне моих замечаний самому Мерзлякову? Но Шушерин удержал меня, сказав: «Ну, полно, любезный друг, что тебе за охота? Ведь ты еще юноша, а это знаменитый муж, профессор словесности. Разумей про себя и не делай сам того, что критикуешь у Мерзлякова». Я послушался Шушерина и, конечно, сделал хорошо. Нет однако никакого сомнения, что перевод Кокошкина много обязан своим достоинством, правильностью и (по-тогдашнему) чистотою языка строгим замечаниям Мерзлякова.

Деревянный дом Кокошкина на Арбате сгорел, и он купил себе огромный каменный дом у Арбатских ворот, где Мерзляков читал свои публичные лекции о русской литературе и где впоследствии было столько прекрасных благородных спектаклей. В Кокошкине не заметно было, что он пережил такую великую историческую годину, о ней и речи не было. Он весело встретил меня литературными и театральными новостями, точно как будто ничего не случилось важного с тех пор, как мы не видались. «Милый, как я вам рад! — восклицал Кокошкин, обнимая меня при первом нашем свидании. — Как кстати вы приехали: Алексей Федорович у меня в зале читает публичные лекции, и, конечно, ничего подобного Москва не слыхивала; я решился поставить на сцену моего «Мизантропа» (он всегда называл его мой), я теперь весь погружен в репетиции — работы по горло. Ваши советы будут мне полезны» (разумеется, это была учтивость).

Мне удалось слышать только одну лекцию Мерзлякова, именно ту, в которой он разбирал «Дмитрия Донского», и разбирал очень строго и справедливо. Несмотря на убедительные и ясные доказательства профессора, почти все слушатели нашли такой разбор любимой трагедии пристрастным и недоброжелательным, даже осердились за него. Стихи Озерова, после Сумарокова и Княжнина, так обрадовали публику, что она, восхитившись сначала, продолжала семь лет безотчетно ими восхищаться, с благодарностью вспоминая первое впечатление, и вдруг публично с кафедры ученый педант, чем был в глазах публики всякий профессор, смеет называть стихи по большей части дрянными, а всю трагедию — нелепостью!.. Волнение было сильное. Едва ли кто-нибудь из слушателей был так доволен, даже обрадован этой лекцией, как я, по-

тому что лекция очень совпадала с жестоким разбором «Дмитрия Донского», написанным А.С. Шишковым; разбор этот я считал почти во всем справедливым. После чтения был завтрак у Кokoшкина, и он, по моей просьбе, познакомил меня с Мерзляковым; я с горячностью высказал ему мое сочувствие и уважение и сообщил о критике Шишкова. В этот же день я видел в первый и последний раз Батюшкова.

1826—1827 годы

Каждую неделю в известные дни собиралось все наше общество у Кokoшкина, у Шаховского и у меня, но видались мы ежедневно, даже не один раз.

Во время наших приятельских обедов и вечеров редко обходилось дело без карт, но сначала обыкновенно что-нибудь читали или слушали музыку. Иногда Писарев читал свои стихи, которые, впрочем, он стал писать гораздо менее. Он прочел также переведенное им в трех актах какое-то драматическое представление для будущего бенефиса Щепкина — «Пятнадцать лет в Париже». Пьеса показалась мне скучновата. Но зато водевиль «Пять лет в два часа, или Как дороги утки», переведенный им для бенефиса Синецкой, всех нас заставил хохотать и восхищаться куплетами. В это время Писарев был особенно занят, по поручению Общества любителей русской словесности, сочинением похвального слова уже несколько лет умершему Капнисту; разумеется, и оно было прочтено нашему ареопагу. Но по большей части читали на этих вечерах стихи Шаховского, который, кроме своих театральные сочинений, имел время и несчастную претензию писать патриотические стихотворения. Одно из них, чрезвычайно длинное, в котором описывалась война 12-го года и торжество русских в Париже, ужасно надоело мне. По несчастию, чтение мое нравилось автору, и я читал его

тетрадищу плохих стихов не один раз. А что всего не-
сноснее, — бывало, прочтешь около половины, как
вдруг войдет новый гость, и Шаховской непременно
скажет самым умильным голосом, с нежностью смотря
мне в глаза: «Селгей Тимофеич, да мы повтолим для
него сначала», и я, проклиная нового гостя и Шахов-
ского, повторял сначала. На таких собраниях был про-
чтен, каждый раз по одному акту, мой прежний пере-
вод Мольеровой комедии «Школа мужей», по возмож-
ности мною выправленный и отданный на следующий
бенефис Щепкину, который тосковал по Мольеру и,
вообще, по ролям, требующим работы. Я обещал ему
перевести на следующий год Мольерова «Скупого» и
сдержал мое обещание.

Слушали мы с наслаждением и музыку и пение Вер-
стовского. Его «Бедный певец», «Певец в стане рус-
ских воинов», «Освальд, или Три песни» Жуковского и
«Приди, о путник молодой» из «Руслана и Людмилы»,
«Черная шаль» Пушкина и многие другие пьесы —
чрезвычайно нравились всем, а меня приводили в вос-
хищение. Музыка и пение Верстовского казались мне
необыкновенно драматичными. Говорили, что у Вер-
стовского нет полного голоса; но выражение, огонь,
чувство заставляли меня и других не замечать этого
недостатка. Один раз спросил я его — отчего он не на-
пишет оперы? Верстовский отвечал, что он очень бы
желал себя попробовать, но что нет либретто. Я возра-
зил ему, что, имея столько приятелей-литераторов, хо-
рошо знакомых с театром и пишущих для театра, не
трудно, кажется, приобрести либретто. Верстовский
сказал, что у всякого литератора есть свое серьезное де-
ло и что было бы совестно, если б кто-нибудь из них
бросил свой труд для сочинения ничтожной оперы. Я,
однако, с этим не согласился и при первом случае на-
пал на Кокошкина, Загоскина и Писарева: для чего ни-

кто из них не напишет оперы для Верстовского, когда все они, да и вся публика, признают в Верстовском замечательный музыкальный талант? Мне отвечали самыми пустыми отговорками, недосугом, неумением и тому подобными пустыми фразами. Я расшумелся и кончил свои нападения следующими словами: «Послушайте, господа: я ничего никогда для театра не писал; но ведь я осрамлю вас, я напишу Верстовскому либретто!» Кокошкин, с невозмутимым спокойствием и важностью, отвечал мне: «Милый! сделай милость, осрами!» Ободрительный смех Загоскина и Писарева ясно говорил, что они сочувствуют словам Кокошкина. По опрометчивости и живости моей я не сообразил, до какой степени это дело будет ново и трудно для меня, и вызвался Верстовскому написать для него оперу, и непременно волшебную. Нечего и говорить, как был он мне благодарен. Напрасно ломал я себе голову, какую бы написать волшебную оперу: она не давалась мне, как клад. Я бросился пересматривать старинные французские либретто и, наконец, нашел одну — именно волшебную*, и где были даже выведены цыгане, чего Верстовский очень желал. Мы оба придумали разные перемены, исключения и дополнения, и я принялся за работу.

В приятельской нашей игре в карты и беседах много происходило комических сцен между Шаховским и Загоскиным, хотя они горячо и нежно любили друг друга. Загоскин, в свою очередь, часто бывал смешнее Шаховского: младенческое простодушие, легковерие и вспыльчивость, во время которой он ничего уже не видел и не слышал, были достаточными к тому причинами. Часто посреди игры все мы, остальные, положив

* [Кажется, она называлась по имени главного действующего лица, волшебника, вызывающего духов — «Заметти». Много ламбурили над словом «Заметти», придавая ему русское значение.]

карты, хохотали над ними до слез. Они беспрестанно спорили и ссорились, подозревали друг друга в злонамеренных умыслах, и нередко случалось, что один другого обвинял в утайке той карты, которая находилась у него самого на руках; но один раз случилось особенно забавное происшествие, впрочем, не зависящее от карт: ехали мы, т. е. я, Кокошкин, Загоскин и Писарев, в условленный день на вечер к Шаховскому. Вдруг Загоскин говорит: «Надоел мне Шаховской своими стихами, опять что-нибудь будет читать. Я придумал вот что: как приедем, я заведу с ним спор. Скажу, что я сегодня прочел «Кумушек» Шекспира, и начну их бранить; скажу, что Шекспир скотина, животное, — Шаховской взбесится и посмешит нас своими выходками и бормотаньем. Между тем, время пройдет; мы скажем, что слушать его стихов уже некогда, и сядем прямо за карты». Мы охотно согласились, потому что как-то давно Шаховской с Загоскиным не схватывались и не бранились. Приехав к Шаховскому, мы нашли у него Щепкина и еще двух приятелей из нашего круга. Загоскин с первого слова повел свою атаку, и так неосторожно и неискусно, так по-топорному, что Шаховской сейчас сметил его намерение. Вместо того чтоб разгорячиться, он весьма хладнокровно начал подсмеиваться над Загоскиным; сказал, между прочим, что с малолетними и с малоумными о Шекспире не говорят, что вся русская литература в сравнении с английской гроша не стоит и что такому отсталому народишку, как русский, надобно еще долго жить и много учиться, чтобы понимать и ценить Шекспира. Шаховской знал, что ничем нельзя так раздражить Загоскина, как унижением русского народа; знал, что он подносил горящий фитиль к бочонку с порохом. Так и случилось, — последовал такой взрыв, какого мы и не видавали. Загоскин совершенно вышел из себя и не

только уже от всей души принялся ругать Англию, Шекспира и Шаховского, но даже бросился на него с кулаками. Разумеется, его удержали. Он сейчас опомнился, и Шаховской, прищулив свои маленькие глаза и придав своему лицу, как он думал, самое насмешливое, язвительное выражение, сказал: «Ну что, блат, ты хотел меня лаздлазнить и потешить публику, а я смекнул дело да лаздлазнил тебя; только чул впелед не длаться». Друзья сейчас помирились, мы все досыта насмеялись, время было выиграно и цель достигнута: мы сели прямо за карты*.

С. Т. Аксаков

ДЕСЯТЫЙ НУМЕР**

Вхожу в большую комнату, уставленную по стенам пустыми кроватями со столиками; на каждом столике наложены кучки зеленых, желтых, красных, синих книг и пачки тетрадей; вижу — лежит на одной кровати чья-то фуражка, дном наружу; на дне — надпись; читаю: «Hunc pil... — тут стерто, не разберу, — Fur rapidis manibus tangere noli: possessor cujus fuit semperque erit Tschistof, qui est studiosus quam maxime generosus».

Понимаю. Где же этот г-н Чистов? А вот он входит в дверь: испитой, с густыми темными волосами, свинцового цвета лицом, темно-синею выбритою гладко бородою; за ним приходит с лекции и мой Феоктистов; дверь начинает беспрестанно отворяться и затворяться; являются одно за другим все новые и новые лица, рекомендуются, приветливо обращаются ко мне; вот

* О литературных вечерах Ф. Кокошкина см. «Литературные встречи и знакомства» А. Милокова. П., 1890, гл. Воспоминание о Ф.Ф. Кокошкине.

** Сочинения Н.И. Пирогова, т. II, Киев, 1910, с. 236—242.